ГЕОРГІИ ИВАНОВЪ

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗИМЫ

ПАРИЖЪ

Книжное Дѣло «LA SOURCE» («Родникъ») 106, rue de la Tour

1928

ПЕТЕРБУРГСКІЯ ЗИМЫ

Безъ отдыха дни и недѣли,
Недѣли и дни безъ труда.
На сѣрое небо глядѣли,
Влюблялись. И то не всегда.

И только. Но брезжилъ надъ нами
Какой-то божественный свѣтъ,
Какое-то легкое пламя,
Которому имени нѣтъ.

Георгій Адамовичъ.

I

Говорятъ, тонущій въ послѣднюю минуту забываетъ страхъ, перестаетъ задыхаться. Ему, вдругъ, становится легко, свободно, блаженно. И, теряя сознаніе, онъ идетъ на дно, улыбаясь.

Къ 1920-му году Петербургъ тонулъ уже почти блаженно.

Голода боялись, пока онъ не установился «всерьезъ и надолго». Тогда его перестали замѣчать. Перестали замѣчать и разстрѣлы.

— Ну, какъ вы дошли вчера, послѣ балета?..

— Ничего, спасибо. Шубы не сняли. Пришлось, впрочемъ, померзнуть съ полчаса на дворѣ. Былъ обыскъ въ восьмомъ номерѣ. Пока не кончили, — не пускали на лѣстницу.

— Взяли кого-нибудь?

— Молодого Перфильева и еще студента какого-то, у нихъ ночевалъ.

— Разстрѣляютъ, должно быть?

— Должно быть...

— А Спесивцева была восхитительна.

— Да, но до Карсавиной ей далеко.

— Ну, Петръ Петровичъ, заходите къ намъ....

Два обывателя встрѣтились, заговорили о житейскихъ мелочахъ, и разошлись. Балетъ... шуба... молодого Перфилье-

Получалось такъ. Пріѣзжаетъ въ Петербургъ Есенинъ. Шестнадцатилѣтній, робкій, бредящій стихами. Его мечта — стать «настоящимъ писателемъ». Онъ пріѣхалъ малограмотнымъ и въ лаптяхъ, но съ твердымъ намѣреніемъ сбросить и то, и другое, — вообще всю свою «сѣрость». Вотъ онъ уже и не въ лаптяхъ, уже какъ-то «разстарался», справилъ себѣ «тройку», чтобы не отличаться отъ «городскихъ», «ученыхъ». Но онъ понимаетъ, что главное отличіе не въ платьѣ. И со всѣмъ своимъ шестнадцатилѣтнимъ «напоромъ» старается стереть это различіе. Конечно, такое рвеніе тоже не безопасно, — слишкомъ усердно «стирая», можно стереть и самобытность и свѣжесть. Помощь расположеннаго и опытнаго старшаго товарища тутъ очень нужна. Помимо такой профессіональной помощи, нужна и другая — просто дружеская рука, протянутая человѣку, теряющемуся въ совершенно чужой ему обстановкѣ.

Понятно, что Есенинъ и вообще «Есенины», пообмерзнувъ въ традиціонномъ петербургскомъ «холодѣ», — были счастливы, когда встрѣчали Городецкаго.

Послѣ мѣсяца хожденія съ тетрадкой стиховъ «по писателямъ» — деревенскій начинающій смущенъ и разочарованъ.

Писатели — люди «черствые», равнодушные. Смотрятъ на него, какъ на обыкновеннаго новобранца литературнаго войска, — много ихъ ходитъ, съ тетрадками. Холодное одобреніе Блока... Строгій взглядъ черезъ лорнетку З. Гиппіусъ... Придирчивый разборъ Сологуба — вотъ эта строчка у васъ не дурна, остальное зелено... И ко всѣмъ этимъ скупымъ похваламъ — одинъ и тотъ-же припѣвъ: учиться, учиться. Работать, работать, работать...

И вдругъ, знакомство съ Городецкимъ, такимъ сердечнымъ, ласковымъ, милымъ, такой «родной душой». И въ первой же бесѣдѣ съ этой родной душой — полная «переоцѣнка цѣнностей». Начинающій изъ деревни (какъ и всякій начинающій) самъ считалъ, конечно, что «свѣтъ его недооцѣниваетъ», но врядъ-ли, до бесѣды съ «родной душой», — понималъ, до какой степени этотъ бездушный свѣтъ глухъ и слѣпъ. Оказывается — онъ геній, это рѣшено. И не просто геній, а народный, что много выше обыкновеннаго. И много проще. Всѣ эти штуки съ упорной работой — для интеллигентовъ, существъ низшихъ. Дѣло же народнаго генія — «выявлять стихію». Вотъ оно что. «Сѣрость», оказывается, вовсе не надо стирать, — она и есть «стихія». Скорѣе вонъ изъ головы «мертвую учебу», скорѣе лапти обратно на ноги, скорѣе обратно поддевку, гармонику, залихватскую частушку.

***

Для своей «народной школы», пополнявшейся каждый сезонъ новыми «соблазненными мужичками», кромѣ домашнихъ собесѣдованій, — гдѣ «геніально», «выше Пушкина» и т. п., звучало обыденной похвалой, Городецкій устраивалъ еще и открытые вечера — «Гала», такъ сказать. Тамъ

... Было все очень просто, было все очень мило...

На эстрадѣ — портретъ Кольцова, осѣненный жестянымъ серпомъ и деревянными вилами. Внизу — два «аржаныхъ» снопа (отъ частаго употребленія, порядочно растрепанныхъ) и полотенце, вышитое крестиками. Фонъ декорированъ малороссійской плахтой изъ кабинета Городецкаго. Этимъ смягчается «интеллигентское безличіе» эстрады, и создается настроеніе, близкое къ «стихіи». Должно быть, чтобы еще ближе перенести слушателей въ обстановку русской деревни, — обычный распорядительскій колокольчикъ отмѣняется. Вмѣсто него — какой-то не то гонгъ, не то тимпанъ. Съ бубенцами... Въ обычное время онъ виситъ въ томъ же кабинетѣ — у печки.

Городецкій выходитъ на эстраду и ударяетъ въ этотъ тимпанъ. Видъ у него восторженно-сіяющій, ласково-озабоченный. Кудри взъерошены. Голубая или «алая» косоворотка... Внимательный глазъ иногда различитъ подъ косовороткой очертанія твердаго пластрона — это значитъ, что, послѣ вечера, надо ѣхать въ изящный клубъ, гдѣ любитъ ужинать «Нимфа», и рубашка надѣта для скорости обратнаго переодѣванія поверхъ крахмальнаго бѣлья и чернаго банта смокинга.

Городецкій ударяетъ въ свой «тимпанъ» и приглашаетъ къ вниманію. Свѣтъ гаснетъ. Только эстрада съ Кольцовымъ и снопами — въ яркомъ блескѣ рефлекторовъ.

Сергѣй Есенинъ...

Зеленая плахта съ малиновыми разводами откидывается. Выходитъ Есенинъ.

На немъ тоже косоворотка — розовая, шелковая. Золотой кушакъ, плисовые шаровары. Волосы подвиты, щеки нарумянены. Въ рукахъ — о, Господи, пукъ васильковъ — бумажныхъ.

Выходитъ онъ подбоченясь, весь какъ-то «по молодецки» раскачиваясь. Прорепетировано, должно быть, не разъ. Улыбка ухарская и... растерянная. Тоже, вѣрно, репетировалась эта улыбка. Но смущеніе сильнѣе. Выйдя, онъ молчитъ, безпокойно озираясь...

— Валяй, Сережа, — слышенъ ободряющій голосъ Городецкаго изъ-за плахты. — Валяй, чего стѣсняться.

Чего, въ самомъ дѣлѣ?

Есенинъ пріободряется. Голосъ начинаетъ звучать увѣреннѣй. Ухарская улыбка шире расплывается. Есенина я видѣлъ полгода тому назадъ, до его знакомства съ Городецкимъ. Какъ онъ измѣнился, однако. И стихи какъ измѣнились...

... Лады, Лели, гусли-самогуды, струны-самозвоны... — Врядъ-ли раньше Есенинъ и слыхалъ объ этихъ самогудахъ и Ладахъ... Иногда, среди нихъ выскочитъ и неприличное, «похабное» словцо. Эти онъ, конечно, зналъ и раньше, но по «неопытности» полагалъ, должно быть, что вставлять ихъ не то, что въ стихи, — а и въ разговоръ, не хорошо. Теперь, бойко ихъ выкрикивая, оглядываетъ еще публику: Что? Каково?..

Сергѣй Клычковъ...

Выходитъ, наряженный коробейникомъ изъ хора, Клычковъ. Читаетъ нараспѣвъ — какъ оперные слѣпцы. Тѣ же Лады и гусли, только болѣе деревянно, менѣе находчиво, чѣмъ у Есенина. Тоже недавно держался просто, писалъ проще и лучше. Теперь, спасибо наставнику, «нашелъ себя». А то, было,

совсѣмъ пропадалъ, — въ университетъ готовился, — латынь зубрилъ...

Николай Клюевъ...

Клюевъ спѣшно обдергиваетъ у зеркала въ распорядительской поддевку и поправляетъ пятна румянъ на щекахъ. Глаза его густо, какъ у балерины, подведены. Морщинки (Клюеву лѣтъ сорокъ) вокругъ умныхъ, холодныхъ глазъ сами собой расплываются въ дѣланную сладкую, глуповатую улыбочку.

— Николай Васильевичъ, скорѣй!..

— Идуу... — отвѣчаетъ онъ нараспѣвъ и истово крестится. — Идуу... только что-то боязно, — братишечка... Ну, была не была — Господи, благослови... — Ничуть ему не «боязно» — Клюевъ человѣкъ бывалый и знаетъ себѣ цѣну. Это онъ просто входитъ въ роль «мужичка-простачка».

Потомъ степенно выплываетъ, степенно раскланивается «честному народу», и начинаетъ истово, на О:

Ахъ ты, птица, птица райская,
Дребезда золотоперая...

Единственнаго настоящаго поэта этого жанра Городецкій какъ разъ проглядѣлъ. Прочелъ его рукописи и не обратилъ вниманія. Открылъ Клюева «бездушный» Брюсовъ.

Но, пріѣхавъ въ Петербургъ, Клюевъ попалъ тотчасъ-же подъ вліяніе Городецкаго и твердо усвоилъ пріемы мужичка-травести.

— Ну, Николай Васильевичъ, какъ устроились въ Петербургѣ?

— Слава тебѣ, Господи, не оставляетъ Заступница насъ грѣшныхъ. Сыскалъ клѣтушку-комнатушку, много-ли намъ надо? Заходи, сынокъ, осчастливь. На Морской, за угломъ, живу....

Я какъ-то зашелъ къ Клюеву. Клѣтушка оказалась номеромъ Отель де Франсъ, съ цѣльнымъ ковромъ и широкой турецкой тахтой. Клюевъ сидѣлъ на тахтѣ, при воротничкѣ и галстукѣ, и читалъ Гейне въ подлинникѣ.

— Маракую малость по басурманскому, — замѣтилъ онъ мой удивленный взглядъ. — Маракую малость. Только не лежитъ душа. Наши соловьи голосистѣй, охъ, голосистѣй...

— Да что-жъ это я, — взволновался онъ, — дорогого гостя какъ принимаю. Садись, сынокъ, садись, голубь. Чѣмъ угощать прикажешь? Чаю не пью, табаку не курю, пряника медоваго не припасъ. А то — онъ подмигнулъ — если не торопишься, можетъ, пополудничаемъ вмѣстѣ. Есть тутъ одинъ трактирчикъ. Хозяинъ хорошій человѣкъ, хоть и французъ. Тутъ, за угломъ. Альбертомъ зовутъ.

Я не торопился. — Ну, вотъ, и ладно, ну, вотъ, и чудесно — сейчасъ обряжусь...

— Зачѣмъ-же вамъ переодѣваться?

— Что ты, что ты — развѣ можно? Собаки засмѣютъ. Обожди минутку — я духомъ.

Изъ-за ширмы онъ вышелъ въ поддевкѣ, смазныхъ сапогахъ и малиновой рубашкѣ: — Ну, вотъ — такъ то лучше!

— Да, вѣдь, въ ресторанъ въ такомъ видѣ, какъ разъ, не пустятъ.

— Въ общую и не просимся. Куда намъ, мужичкамъ, промежъ господъ? Знай, сверчокъ, свой шестокъ. А мы не въ общемъ, мы въ клѣтушку-комнатушку, отдѣльный, то-есть. Туда и намъ можно...

***

Публика аплодируетъ. Публика довольна. Городецкій сіяетъ.

Онъ искренно счастливъ, этотъ милый, пріятный, обходительный, даровитый человѣкъ. Онъ отъ души радъ, что все такъ хорошо, и всѣмъ такъ нравится и, больше всѣхъ, ему, Городецкому. Онъ весело окидываетъ залъ ясными, открытыми глазами, кого-то хлопаетъ по плечу, кому-то жметъ руки, обнимаетъ кого-то...

Бываютъ и непріятности, конечно. Сологубъ, напримѣръ, прощаясь, проворчитъ по стариковски:

— А гдѣ вашъ главный распорядитель?

— Какой, Федоръ Кузьмичъ?

— Да Лейфертъ, костюмеръ. Лапти-то у него напрокатъ брали?

Но что понимаетъ Сологубъ въ «народномъ искусствѣ»?

Гумилевъ въ совѣтскія времена часто вздыхалъ:

— Жаль, что Городецкаго нѣтъ.

— Онъ, кажется, у бѣлыхъ?

— Да. На югѣ гдѣ-то. Это, впрочемъ, къ лучшему. Застрянь онъ здѣсь, его живо бы разстрѣляли.

— Насъ же не разстрѣливаютъ?

— Мы другое дѣло. Онъ слишкомъ ребенокъ: довѣрчивъ, восторженъ... и простъ. Сталъ-бы агитировать, рѣзать большевикамъ правду въ лицо, попался-бы съ какими-нибудь стишками .. Непремѣнно-бы разстрѣляли. Слава Богу, что онъ у бѣлыхъ. Но мнѣ его часто недостаетъ, — того веселья, которое отъ него шло.

И прибавлялъ, улыбаясь:

— Въ сущности, вся наша дружба съ нимъ — дружба взрослаго съ ребенкомъ. Я — взрослый, серьезный, скучный. А Городецкій живетъ — точно въ пятнашки играетъ. Должно быть, насъ и привлекло другъ въ другѣ то, что мы такіе разные.

***

Весной 1920 года Городецкій пріѣхалъ въ Петербургъ. Пріѣхалъ съ новенькимъ партійнымъ билетомъ въ карманѣ и въ предшествіи коммунистки Ларисы Рейснеръ. Мужъ Рейснеръ, извѣстный Раскольниковъ, комиссаръ Балтфлота, захватилъ гдѣ-то, на фронтѣ, вмѣстѣ съ поѣздомъ «Освага» и работавшаго въ «Освагѣ» Городецкаго.

... На эстрадѣ на этотъ разъ стоялъ не Кольцовъ, а Ленинъ, и не вилы, а молотъ перекрещивался съ серпомъ. И ужъ не косоворотка, а «революціонный» френчъ былъ на Городецкомъ.

Райснеръ говорила вступительное слово. — Кто изъ насъ

грамотѣ при лучинѣ, тайкомъ, побои, бѣгство изъ дому, скитанье, голодовка, — все что испытали когда-то всѣ русскіе самоучки, стремившіеся «изъ тьмы — къ свѣту». Извѣстно, какой нуженъ «напоръ», чтобы не погибнуть на полъ, на четверть пути. Хватило напору, все вынесъ, не погибъ... И сидитъ въ шелковой рубашкѣ, въ золотомъ пояскѣ, съ подвитыми кудрями. Побои, мракъ, невѣжество, голодъ, — позади. Въ порывѣ къ «разумному, доброму, вѣчному» хватило силъ все перенести. И вотъ, — добился-таки. Паркетъ блеститъ, египетскія папиросы дымятся, и за эраровскимъ роялемъ подрумяненный дэнди, поблескивая пенснэ, воркуетъ и картавитъ.

Сѣетъ...

«Разумное, доброе, вѣчное»? То, о чемъ такъ сладко и жадно мечталось когда-то въ грязной избѣ, при дымящей лучинѣ, за замасленнымъ букваремъ?

Оно самое. Въ 1916 году, въ Петербургѣ, въ разгарѣ войны, наканунѣ революціи, въ самомъ утонченномъ, самомъ избранномъ кругу истина формулируется такъ:

«Намъ философіи не надо...»

Сомнѣній, что это истина — никакихъ. Да никто и не хочетъ сомнѣваться. Всѣмъ нравится. Именно это, — а не другое. И никто не виноватъ.

Пришло время — и ядъ дѣйствуетъ. Пришло время и яду нельзя сопротивляться....

Каннегиссеръ въ 1917 году писалъ:

И, если, шатаясь отъ боли,
Къ тебѣ припаду я, о, мать,
И буду въ покинутомъ полѣ
Съ прострѣленной грудью лежать,

Тогда у блаженнаго входа,
Въ предсмертномъ и радостномъ снѣ,
Я вспомню — Россія, Свобода,
Керенскій на бѣломъ конѣ...

«О доблестяхъ, о подвигахъ, о славѣ» — онъ давно мечталъ. «Радостная смерть» за Россію, за свободу, за человѣчество — ему давно мерещилась. Но какая жестокая разница между тѣмъ, что мерещилось, и тѣмъ, что оказалось въ дѣйствительности.

... Россія, Свобода,
Керенскій на бѣломъ конѣ?..
Нѣтъ, — подвалъ Че-Ка, сухой трескъ нагана.

**
*

Мало кто знаетъ, что убійца Урицкаго — былъ поэтомъ. «Настоящимъ поэтомъ»? Да, настоящимъ. Если бы онъ просто «писалъ стихи», какъ большинство молодыхъ людей его возраста и круга — не стоило бы о нихъ упоминать.

Но Каннегиссеръ былъ впрямь поэтомъ. Онъ погибъ слишкомъ молодымъ, чтобы дописаться до «своего». Оставшееся отъ него — только опыты, пробы пера, предчувствія. Но то, что это «настоящее», видно по каждой строкѣ.

Такъ вотъ — убійца Урицкаго былъ поэтомъ. А что такое поэтъ? Прежде всего, существо съ удвоенной, удесятеренной, утысячеренной чувствительностью. Покойный докторъ Карпинскій, удивительнѣйшій психо-неврологъ, говорилъ:

— Понимаете, если отрѣзать палецъ солдату и Александру Блоку — обоимъ больно. Только Блоку, ручаюсь вамъ, въ пятьсотъ разъ больнѣе.

Не знаю, какъ насчетъ пальцевъ, но въ области душевной, увѣренъ, что «Блоку» всегда больнѣе, чѣмъ «не Блоку», безразлично, солдату или банкиру. Такова ужъ суть «поэтической природы» Не поэтамъ нечего на это обижаться. Радоваться, вѣроятно, тоже нечего...

Итакъ, Урицкаго убилъ не простой «русскій мальчикъ». Урицкаго убилъ — поэтъ.

... На Милліонной схватили, какъ затравленнаго звѣря. Отвезли въ Че-Ка. Что съ нимъ дѣлали тамъ, какъ допраши-

вали? Грозили, что его мать, отецъ, вся семья будутъ разстрѣляны, уже разстрѣляны. Говорятъ — истязали. Долгіе недѣли въ тюрьмѣ въ ожиданіи казни... Никакого просвѣта, никакой надежды...

Каннегиссера очень долго не казнили. Зачѣмъ это было нужно — не знаю. Долгія недѣли такой «жизни» даже трудно себѣ представить. А, вѣдь, онъ «прожилъ» ихъ и, кромѣ страшной судьбы, которую самъ себѣ выбралъ, оставался тѣмъ же Ленечкой Каннегиссеромъ, двадцатилѣтнимъ, веселымъ, влюбленнымъ, гордымъ...

Солдату, когда ему рѣжутъ палецъ, если «и не такъ больно», какъ «Александру Блоку», — все-же страшно, невыносимо больно.

А тутъ еще эта адская «таблица умноженія»:

Красивый × двадцатилѣтній × веселый × влюбленный × гордый... и еще поэтъ.

**
*

Уже здѣсь, въ Парижѣ, я видѣлъ послѣднюю фотографію Каннегиссера, снятую за два или три дня до казни.

Когда родныхъ Каннегиссера выпустили, спустя нѣсколько мѣсяцевъ, изъ тюрьмы, даже мебель изъ ихъ квартиры оказалась наполовину вывезенной. Отъ бумагъ, писемъ, фотографій, разумѣется, ничего — если ужъ рояль взяли въ качествѣ «вещественнаго доказательства».

И, вернувшись, послѣ долгихъ мѣсяцевъ, изъ тюрьмы, родители Каннегиссера не нашли ни одного портрета своего казненнаго сына.

«Все уничтожено», — отвѣтили въ Че-Ка на просьбу вернуть хоть одну фотографію.

Въ кабинетѣ слѣдователя было нѣсколько человѣкъ. Когда отецъ Каннегиссера былъ уже на улицѣ, его окликнули. Чекистъ въ кожаной курткѣ, одинъ изъ бывшихъ въ кабинетѣ. Онъ протягивалъ фотографіи.

— Вотъ. Намъ всѣмъ раздавали. Возьмите.

И, помолчавъ, прибавилъ:

— Вашъ сынъ умеръ, какъ герой...

Два маленькихъ блѣдныхъ отпечатка, такіе, какъ дѣлаютъ для паспортовъ.

Особенно страшенъ одинъ, въ профиль. Это — Каннегиссеръ? Тотъ, котораго мы знали, красивый, веселый, гордый мальчикъ?

Да, Каннегиссеръ. Только ни его красоты, ни молодости, ни веселья, ни стиховъ, — уже нѣтъ. Осталось на этомъ лицѣ только одно — гордость.

Губы крѣпко сжаты. Глаза смотрятъ спокойно и холодно. Волосы гладко причесаны и щеки выбриты. Но есть въ этомъ лицѣ что-то такое, отъ чего вздрогнетъ всякій, взглянувшій на этотъ портретъ, даже не зная, чей онъ, откуда онъ...

**
*

Каннегиссера держали въ Кронштадтской тюрьмѣ. На допросъ въ Петербургъ его возили по морю въ катерѣ. И вотъ разсказъ одного изъ возившихъ матросовъ. Въ серединѣ пути разыгралась буря, и катеръ начало заливать. Каннегиссеръ сказалъ:

Если мы потонемъ, я одинъ буду смѣяться.

Въ томъ, что эти слова подлинныя, не усомнится никто изъ знавшихъ Каннегиссера. Весь онъ въ этой фразѣ. Онъ бы и разсмѣялся навѣрное, если бы катеръ перевернуло. А везли его изъ тюрьмы въ застѣнокъ. Позади — долгія недѣли въ ожиданіи казни. Впереди — никакого просвѣта, никакой надежды...

Балтійское море дымилось,
И словно рвалось на закатъ.
Балтійское солнце садилось
За синій и дальній Кронштадтъ...

ТОГО ЖЕ АВТОРА

СТИХИ

«ОТПЛЫТІЕ НА о. ЦИТЕРУ». Первая книга стиховъ. СПБ. 1912.

«ВЕРЕСКЪ». Вторая книга стиховъ. Москва, 1916. Изд. «Альціона». 2-е изд. Берлинъ, 1923. Изд. З. И. Гржебина.

«САДЫ». Третья книга стиховъ. СПБ. 1921. Изд. «Петрополисъ». 2-е изд. Берлинъ, 1923. Изд. С. А. Эфронъ.

«ЛАМПАДА». Собраніе стихотвореній. СПБ 1922. Изд. «Мысль».

ПЕРЕВОДЫ

«КРИСТАБЕЛЬ» Кольриджа. Берлинъ, 1923. Изд. «Петрополисъ».

«ОРЛЕАНСКАЯ ДѢВСТВЕННИЦА» Вольтера. (Въ сотр. съ Г. Адамовичемъ и Н. Гумилевымъ). СПБ 1923. Изд. «Всемірная Литература».

«АНАБАЗИСЪ» С. Ж. Пэрса (Въ сотр. съ Г. Адамовичемъ). Изд. Поволоцкаго. Парижъ, 1925.

ПРОЗА

«ТРЕТІЙ РИМЪ». Романъ въ трехъ частяхъ (Готовится).

Imp. de la Sté Nouvelle d'Éditions Franco-Slaves, 22, R. de Ménilmontant, Paris-2(

ОГЛАВЛЕНІЕ